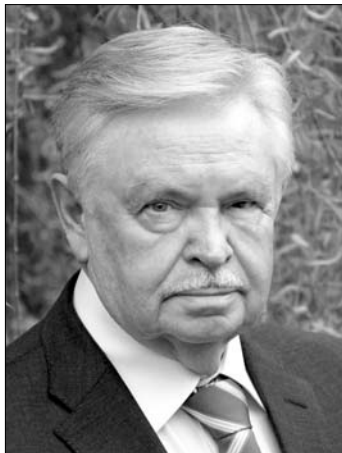


АЛЬБЕРТ ЛИХАНОВ



## ФУЛЮГАН С БОЛЬШОЙ ДОРОГИ

ПОВЕСТЬ ИЗ ЦИКЛА “РУССКИЕ МАЛЬЧИКИ”

### 1

И какими же чудищами могут подрастать человеческие детёныши, оставив их без присмотра, без отца или без матери, а то и без всех взрослых враз, обитающих поблизости. Иной раз покажется, что слишком раннее детское одиночество схоже с безвременной гибелью возраста, а это значит, гибелью безвозвратной части человеческой жизни под волшебным именем детство.

Понимаете? Детство погибает в самом ребёнке. Он ещё невелик и ростом, и разумом, и уж, конечно же, житейскими знаниями, а взрослые, даже чрезмерно взрослые, недостатки уже овладевают душой и телом, хотя рано ещё, рано! Достоинства-то взрослые вовсе не плохи, но надобно принять во внимание, что совсем не они идут почти всегда впереди, а именно что недостатки. Их легче выучить малому человеку, глядя на окруживший его мир...

Легче уподобить дурному взрослому правилу существование малой души.

### 2

И Лёнька из железнодорожной школы был таким вот чудищем конца и войны, и тяжёлого наступления мира.

Он был явным переростком, хотя учился в шестом. Про него ходили сплетни, что он учился по два года в каждом классе, но это, конечно, похо-

---

*ЛИХАНОВ Альберт Анатольевич родился в 1935 году в г. Кирове. Окончил Уральский государственный университет им. Горького. Автор многих книг. Лауреат Государственной премии России, премии Ленинского комсомола, международных премий им. Я. Корчака, М. Горького. Удостоен премии Президента РФ в области образования и премии Правительства РФ в области культуры. Председатель Российского детского фонда, президент Международной ассоциации детских фондов. Академик Российской академии образования. Живёт в Москве.*

дило на враньё. Другое дело, что последние классы, например, он пересиживал по два раза — шестой, пятый... Четвёртый — это вряд ли. Четвёртым в те годы заканчивалось начальное образование, и в любой школе учителя и директора, ясное дело, старались хоть за уши вытащить своих недоучек к этому первому аттестату о начальном образовании.

Так что Лёнька превосходил шестиклассников на голову, был очень худ, желтоглаз и лицом совсем не выразителен: будто выстрогана его физиономия из сосновой, слегка желтоватой доски. Главную роль играли его немигающие глаза. Будто тигр, что ли, какой, смотрит на тебя, не моргая: в глазах этих ни чуточки сожаления, понимания, совести да и вообще хоть какой-нибудь понятной мысли. Одна жестокость!

К концу войны в школах стали выдавать на большой перемене булочки, а то и супчик, да ещё чай. Так что редко кто носил с собой домашние, не всегда сытные, куски. Но Лёнька не переставал останавливать мальшню по дороге к школе, главным образом, не своей, и велел открывать поклажи. Портфели тогда были в редкость. Учебники носили в противогазных сумках, в разного рода домашних рукоделиях, но всё-таки кое-кто двигался с портфельщиками довоенного происхождения и взрослого назначения. Лёнька просто стоял на дороге — а всё движение в нашем городке происходило по дорогам, потому что тротуары чистить было некому, — и, приближаясь к желтоглазому хищнику, требовалось просто открыть свою сумку, свой портфель и показать: еды там нет.

И всё же Лёнька-железнодорожник почти всякий раз ухватывал свою — пусть хилую, — но дань. Один раз попался и я. Мама положила мне в сумку большое красное яблоко — купила на рынке. Тогда стояла ещё осень, на рынке было немало вкусностей, она решила побаловать меня и положила в сумку.

Я думал, ещё осень, яблоки, пусть и не такие красивые, растут по садам, есть ли смысл посягать на них? Впрочем, думал я не глубоко, не всерьёз, не вдаваясь в опасность, и — был наказан. Лёнька с невозмутимой жёлтой рожой вынул яблоко из моей поклажи и сунул себе в карман.

Я никогда не видел, чтобы он отнятое тут же стал бы есть. Казалось, он вовсе и не голоден, а отнимает просто так, по праву сильного, у которого всегда *бессильный виноват* — басни Крылова мы к шестому-то классу уже освоили. Потом кто-то из многих, но отчего-то забытых — то ли свидетелей, то ли Лёнькиных жертв — сказал мне, что нет, мол, Лёнька почти всегда был голодным, но жрал свою добычу за углом, чтобы его никто не видел.

Была, таким образом, в нём какая-то звериная одинокость.

### 3

Нет, он не был одинок. Вокруг него почти всегда крутились разнокалиберные тени — длинные и короткие, в коротких кацавейках и длиннополых, смахивающих на шинели, пальтецах, в фуражках, несмотря на зиму, в солдатских пилотках, в мохнатых шапках. Они издавали звуки разного рода, подбадривали Лёньку ими, восклицали междометиями, чаще всего бессвязными и пустыми, и походили на стайку рыбной мелочи, всегда сопровождающую акулу. А про то, что они именно издавали звуки, я не оговорился, потому что любимый их и совершенно бессодержательный звук просто подражал тому, как пугает человек.

Так что всякий понимал — мелкота эта, где каждый пацан почти ничтожен, мельтеша возле своего предводителя, превращался не то чтобы в силу, а в угрожающий фон, в комариное облако, вьющееся поблизости и готовое кинуться на жертву, которую вначале растерзает их предводитель. Тени эти обеспечивали невозможность сопротивления.

Но был ли предводителем этой мелкотни Лёнька-то? Отобранными кусками с ними он не делился, да они особенно и не требовали этого. Казалось, он и в самом деле хищник, которого сопровождают трусливые шакалы.

Однако, какими бы ни были эти шакалы, они оставались людьми, пусть трусливыми и негодными. И становились свидетелями всех Лёнькиных бес-

чинств. Если бы кто-то из взрослых захотел прижучить Лёньку, мне казалось, хватило бы сцанать большой ладонью всё это комарьё, и каждый из них самым подробным образом описал бы, у кого из беззащитной малышни, что именно и когда отнял на дороге этот малолетний бандюган.

#### 4

Но таких взрослых не находилось. А жаль. И волей-неволей получалось так, что малые граждане улиц, где дежурил Лёнька, были под его владычеством. Он всегда появлялся неожиданно, из-за угла или словно из-под земли, и я не раз думал, что Лёньке просто-напросто известны тихие помыслы каждого, кто что-то нёс с собой в школу, кроме тетрадки и учебников, кто что-то задумывал этакое про самого себя и не словечка не сказал никому, а просто подумал и замыслил.

Это ведь он, Лёнька, отобрал у меня ещё задолго до яблока альбомчик с отцовскими марками!

Альбомчик был небольшой, аккуратненький, довоенный, носил иностранное имячко “кляссер” и состоял из тонких прозрачных полосок, за которыми хранилось истинное сокровище — марки разных цветов, эпох и народов.

Собираясь на фронт добровольцем, отец снял со своего пиджака и подарил мне свой значок на серебряной цепочке — “Готов к труду и обороне”, и я принял его, весь трепеща, хотя и без слёз, потому что всегда, наверное, детским своим взором выражал тайное восхищение этим значком, понимая при том его для меня самого совершенную недостижимость. Вот папа, чувствуя это, и отдал его мне, продырявил ножницами мою рубашонку, вставил в него этакий штырёк, накрутил изнутри серебристую шайбочку, и он закачался у меня на груди: звёздочка в кольце и две бегущие направо фигуры.

Потом он переметнул за спину зелёный вещевой мешок, поднял меня, почти шестилетнего, на руки, и мы пошли, растянувшись всей толпой попереёк улицы, сперва к одному перекрёстку, потом к другому, а у третьего он поцеловал меня, маму, всех родных и друзей и забрался в грузовик.

Это было в начале войны. Значок я скоро снял и положил на видную полочку, перед книгами — мне цена его и значение казались ясными. А вот ценность альбома с марками, этого пухленького кляссера, я хоть и сознавал, но вообще не чувствовал на него своих прав.

Разглядывал по вечерам, после уроков, марки за пояском прозрачных полосок, понимал, что есть тут царские, есть иноземные, с удивлением разглядывал марку, выпущенную после смерти Ленина с траурной со всех сторон, чёрно-красной каймой, догадываясь, что у этой коллекции существует какая-то, мне пока не понятная значимость. Может быть, этот кляссер перешёл моему отцу от его отца, моего деда? А тому — от его, от прадеда моего?

Я спрашивал маму, она пожимала плечами, говорила, что ничего не понимает в марках, да и папа никогда ей ничего такого не говорил.

#### 5

Словом, однажды мне пришла в голову глупая мысль: понести альбомчик в школу, показать его моему однопартнику Вовке Крошкину, а может, и учительнице, чтобы понять поосновательнее, каким богатством я владею.

Но ведь я не владел! Отец ничего не сказал мне про альбом! Вообще никогда почему-то не говорил про марки! Значит, я не имел права куда-то там тащить этот кляссер и с кем-то о чём-то рассуждать! И по сей день я уверен, что меня подточила гордыня. Мне хотелось похвастаться, и это грех! Пусть неведомый мне тогда, в малые мои годы.

Но грех-то от возраста не зависит. Он всегда грехом остаётся.

Никому ничего не сказав, не испросив не то чтобы совета, а и простого разрешения мамы, я аккуратно положил кляссер в портфелишко и отправился в школу.

Лёнька ограбил меня всенародно, ни в чём не сомневаясь, нагло и беспощадно. Он вырос из-под земли, когда до школы оставались считанные ме-

тры, и, схватив мой портфель, будто всё заранее знал, вытащил именно то, что мне не принадлежало и за что я отвечал не просто головой — перед отцом, который на войне!

Я, конечно, плакал, но слёзы горохом катились из глаз, а я не произнёс ни звука. Было бесполезно! Деревянное Лёнькино лицо на мгновение дрогнуло, когда он раскрыл альбомчик, но тут же вновь одеревенело, и он сунул кляссер куда-то на грудь, под своё истощённое пальтецо.

## 6

Можно, конечно, долго описывать мой вой в школьном коридоре возле уборной, стучащие друг о друга зубы, головную боль, сжавшую вдруг виски.

Но кого винить? Самого себя. И скрыть нельзя такую кражу, и жаловаться нельзя!

Да, страх правил тогда всеми. Другое дело, что его по-разному следовало объяснить. Мой страх не давал мне раскрыть рта! Что я скажу маме? Как объясню? Зачем понёс кляссер в школу? Какое вообще имел право трогать его?

Один только мой дружок Вовка Крошкин — ещё в той, начальной школе это случилось — и помнил-то историю про марки. Но дальше судьба развела нас по разным мужским школам, а вот Лёнька — остался.

Он был почему-то вездесущим. Он был на всех улицах, по которым приходилось ходить мне. И когда он отнимал у меня яблоко, я осмелился сказать ему:

— Отдай марки!

Он не встрепенулся, не изменился ни чуточку и даже не остервенел, как я того ожидал, а спросил, даже с некоторым интересом, словно совершенно незнакомый человек:

— Какие марки?

И тут он, против своих же правил, запустил свои зубы в мягкую и красную плоть подаренного мне яблока, вынув предварительно его из кармана.

Война уже кончилась, отец вернулся из Маньчжурии с медалями, взблескивающими на груди. Через неделю сложил их в небольшую, зелёного цвета, железную коробочку, и жизнь потекла дальше.

Я с трепетом ждал, когда он спросит про марки. Но он не спрашивал. А Лёнька исправно появлялся у меня на дороге.

## 7

Жизнь после войны не то чтобы налаживалась, а менялась. Как известно, когда затихли сражения, будто назло, словно продолжая испытывать народ, пришёл неурожай и голод не отступил, а пошёл в новую атаку. Жилось бедно, по-прежнему несли бессменную службу столовки для дополнительного питания, и хотя не болезнь, но почти диагноз по имени малокровие был самым распространённым, будто война не остановилась. А как звучит-то, послушайте: мало! крови!

Мало крови, что ли? Ну, да!

И вот, несмотря на всевластие малокровия, когда вдруг в ушах ни с того ни с сего слышался звон тоненьких серебряных колокольчиков, а то и пудовые колокола бухали, мы посмеивались. Просто так, беспричинно, про себя. А то и вслух. А то и просто так, прямо в классе, без всяких причин.

Думаю, мало кто из серьёзных и взрослых людей понимал, что это за смех, казавшийся глупым, потому что был беспричинным. Но причина была! ещё и какая!

Вернулся с войны отец, например, у меня — все четыре года оттопал, два раза ранило его! — и долгие времена эти, пока он отсутствовал, я горевал от мыслей, что с ним сейчас, где он находится, чем занят и какая опасность ему угрожает? В церковь ходить пионерам не полагалось, но я отчего-то упорно смотрел на небо и просил неизвестно — Кого, но известно, за кого — за отца своего.

Тучи иногда расходились, особенно по вечерам, надо мной перемигивались неисчислимые звёзды, и отчего-то становилось легче, а я наивно понимал, что папка живой и здоровый.

А ещё с устрашающим меня ощущением великости мира я думал, что на эти же самые звёзды из неизвестного мне места смотрит мой отец и тоже желает мне удачи.

Ну, вот. А теперь он был со мной, в родном нашем городе, где-нибудь на работе. И может, с кем-то о чём-то там сейчас разговаривал, совсем не думая обо мне. Но он был рядом! Был поблизости, и я знал, куда, в случае чего, могу ринуться, чтобы без причин всяких и без тоски, броситься ему на шею, уколоться о щеку, не очень-то тщательно выбритую, и просто, ничего не объясняя, помолчать рядом с ним.

Успокоенные дети — вот кем оказался кое-кто из нас!

Кое-кто! Отдельные счастливики! И этот разрыв между счастливыми и несчастливчиками, отцы которых не вернулись, незримо присутствовал в том послевоенном школьном мире, не очень-то выпячиваясь и выдвигаясь. Но он по-прежнему будто продолжал войну, одних ломая, других направляя.

## 8

Неподалеку от нас, на маленьком детском стадиончике вдруг развесили лампы под плоскими железными колпаками, похожими на шляпы канотье, — их Чарли Чаплин носил, — и когда темнело, включали их и включали музыку. Без всяких объявлений городок тотчас проведал неожиданную новость и стал собираться на трибуны. Народу каталось немного по той простой причине, что коньки на ботинках были большой редкостью. Но у кого-то они всё-таки были. Со временем там устроят выдачу коньков за деньги и на время, и по вечерам возле заветного окошка, где выдают коньки и где принимают валенки и пальтишки, станет выстраиваться очередь взрослых людей. А пока катались только счастливики.

Я же, шестиклассник, располагал снегурками на верёвках.

И тут, наверное, надо объяснить современному народу, как раньше каталось малое племя на простецких, с круглыми носами, коньках по имени снегурки. В общем-то, всё просто. К заднику конька привязывалась верёвка. Вставляешь валенок носком в брезентовую или кожаную перемычку, как в лыжах, например, а сначала валенок надо просунуть в верёвочную петлю, что крепится на задке. Дальше берётся деревянная палочка, обструганная, конечно, и крепкая, и она закручивает эту верёвку в такой крепенький жгутик. И дальше эта палочка запикивается за валенок: канатик крепкий, конёк как бы прижимается к валенку. Можно ехать.

До пятого класса я катался на таких коньках запросто, но к шестому это детское занятие казалось стыдноватым, да что делать!

И я приходил на стадион и наматывал там круги под лампами, сияющими, как солнца, по сверкающему ледку. Таких, как я, в основном, мальчишек, было довольно много. А воскресные дни малый люд, сходясь, напоминал чёрную кашу из шапок разного рода и разгорячённых лиц. Разогнаться сильно не получалось, и вот эта толпа медленно, даже степенно, двигалась по кругу, под музыку, довольно неспешно, по-взрослому, хотя бы потому, что над кашей этой, над этим круговоротом, всегда возвышалось десятка два взрослых.

Чаще всего это были молодые офицеры из Военно-медицинской академии, эвакуированной к нам ещё в начале войны. Они и катались-то прямо в своих чёрных шинелях с белыми шарфиками, и в чёрных же, вызывающих особое почтение сухопутного народа, морских фуражках.

Эти офицеры из непонятного нам мира, где, спасая, разрезают людей, были недосыгаемы моему слабому сознанию. Да и разве только моему?

Они громко и как-то необыкновенно легко смеялись! Они перекрикивались, называя себя по именам: эй, Вася! эй, Олег! И в то же время они были с серьёзными звёздами на погонах — капитана третьего ранга, равного майору, капитана второго ранга, соответствующего подполковнику. И даже капитана первого ранга, полковника, значит, командующего целым полком.

А этот трёхзвёздочный, в чёрной шинели каперанг, наверное, мог командовать кораблём, что ли?

## 9

И там, на этом катке, однажды вечером я стал свидетелем происшествия, которое долго не мог забыть. Не мог понять, что оно значило для всё так же царствовавшего Лёньки.

Я увидел его на катке, в толпе, медленно движущейся по кругу, с комариной кавалькадой, по-прежнему оцеплявшей его. Он был в коньках на ботинках, катался очень уверенно, что свидетельствовало о его опытности, но преданное ему комарьё сплошным резало лед конёчками, похожими на мои, привязанными к валенкам.

Здесь надо заметить, что коньки с валенками чаще всего и надевались-то дома, чтобы на них, прямо по улицам самоходом добраться до катка. Получалось это у всех по-разному, для меня, например, это не составляло труда — дом был неподалёку. Другим приходилось добираться подальше и тогда, если коньки прикрепил к валенкам дома, нужно было выбирать накатанную дорогу или раскатанные тропинки. Самое простое, конечно, принести коньки подмышкой или в каком-нибудь тряпичном кульке, но это уж были достижения следующих эпох.

Словом, мошкара, — и я скоро в этом убедился, — могла возникать на стадионе прямо на коньках, что затрудняло её поимку. Да и появляться там со всех сторон, потому как стадион никакими заборами не окружался.

И вот я приезжаю на каток, улыбаясь, делаю первые шаги и понимаю, что впереди катится, явно мастерясь, мой закадычный враг Лёнька-железнодорожник, а возле него ширкает полозьями своих разнородных конёчков на валенках его стайка.

Они были подобострастны, эти ширкальщики. Даже звуки их коньков мне вдруг послышались какими-то подхалимскими.

Я чуточку притормозил, съехал к краю ледяной дорожки, моё настроение разом снигло, как какой-то нежный цветок, совершенно не готовый к одним и тем же испытаниям.

Первой мне пришла мысль, что отсюда надо убираться. Всполохи радости, надежд, необыкновенности существования очень легко затухают, когда приближаются угрозы, — то же случилось со мной. Свет ярких ламп померк, лёд перестал искриться, превратившись просто в скользкую поверхность не самого достойного качества, и я едва преодолел себя, приказав сделать хотя бы три круга, и только потом, если уж совсем тошно, удалиться. Не потеряв достоинства.

Меня будто кто-то услышал.

Я увидел трёх или четырёх конькобежцев в чёрных морских шинелях, которые мчались на “норвегах” — в ботинках, конечно! — по внутренней стороне дорожки, может быть, до войны они были настоящими конькобежцами в Ленинграде, откуда их перевели во время войны к нам, просто у них не было с собой настоящей конькобежной формы, но ведь не тем же они были заняты здесь! А вот выпал миг, и они катились тут в шинелях с высокими офицерскими звёздами, и полы этих военно-морских шинелей развевались, как чёрные крылья необыкновенных существ, лица которых были радостны, были счастливы, и только вот этот чёрный цвет одежды, чёрных брюк изпод разлетающихся шинелей и чёрных ботинок, на которых сверкают острые, как хирургические скальпели, скоростные коньки по имени “норвеги”, уверенно и сноровисто распарывают лёд.

— Эй! — восклицал первый. — Эй!

Этим возгласом он давал людям сигнал, чтобы подвинулись, чтобы отъехали хоть чуточку в сторону, чтобы пропустили сверкающе-чёрную вереницу на внутренней поверхности ледяной дорожки, где можно без помех развить пристойную скорость.

И люди, особенно дети, послушно подвигались и даже тормозили, а то и вовсе останавливались, любуясь этим необыкновенным скоростным пролётом.

Ну, вот!

А Лёнька не услышал! Или не захотел услышать! Не захотел, услышав, подчиниться! Это всегда меня интересовало потом.

— Эй! — крикнул в очередной раз человек в чёрной шинели, приближаясь к Лёньке сзади. Тот даже не обернулся.

И тогда первый морской офицер сильным толчком правой ноги изменил траекторию своей езды, и второй, за ним следовавший, обогнул Лёньку. Но он же, Лёнька-то, по-прежнему двигался параллельно морякам. И ехал чуточку наперерез. Четвёртый, летевший в конце офицер, похоже, поздно увидел Лёньку. А может, Лёнька выехал на его путь, с которого уже поздно сворачивать. И этот чёрный нож снёс Лёньку со льда, грохнулся вместе с ним, и оба они, представляющие собой довольно серьёзный вес, лёжа на льду, по инерции, стали ронять на него и старых, и малых.

## 10

Это, конечно, только так говорится — и стар, и млад, — но старых-то там не было, а малых повалилась целая кучамала, и — надо же! — никто не заревел, не завыл, не запричитал, а все быстренько вскочили и засмеялись. И только один Лёнька лежал.

Вот дела! Взрослые в чёрных шинелях мгновенно подскочили к нему, зато комарьё исчезло! Даже следа от них не остаюсь! Я просто обалдел!

Вокруг Лёньки суетились капитаны разных рангов, все четверо, а вокруг сжималось кольцо любопытствующего народа, главным образом, детского, но Лёнькиных адъютантов, подхалимов, сопровождаелей и холуёв след простыл.

Я прибился в первый ряд, самый старший, видать, из морских командиров, спрашивал окружающих:

— Как его фамилия? Как его зовут? Где он живёт?

И кто-то, тоже, видать, из прежних жертв его, назвал имя теперешней жертвы, но где она обреталась, то есть проживала, не мог пояснить никто.

Один из офицеров почти сразу отъехал и скоро, поскальзываясь на льду, но удивительным образом не падая, к толпе подбежали два солдата уже в совершенно обычных зелёных шинелях и с брезентовыми носилками в руках. Может, носилки не давали им упасть, сцепляли их, ещё подумал я, слегка соприкасаясь с неизвестными пока законами физики.

Лёнька, между прочим, и сознания не терял, и глаз не закрыл. Только почему-то мычал. Каперанг его шупал, трогал голову, руки, ноги, мямлил живот, всё спрашивая его: “Больно? Больно?” — а Лёнька мотал головой, мычал, и этот серьёзный человек с “норвегами” на ногах, ещё, конечно же, не снятыми, вдруг спросил, оглядев окружающих:

— Он — что, немой?

Толпа этого, конечно, не могла знать, но несколько смешков всё же послышалось, и каперанг велел Лёньку унести. Его переместили довольно забавно. Солдаты, шаркая сапогами и почти жонглируя, чтобы не упасть, несли носилки, на которых покоился Лёнька, три человека в чёрных шинелях и в коньках скользили рядом, на острых коньках, а четвёртый маячил у входа на стадион, где подгазовывал военный, зелёного цвета фургон с красным крестом на борту.

## 11

Что бы вы думали? Через пару дней Лёнька, как свежий огурец, стоял посреди дороги, по которой я двигался к школе, и вся мелкотня открывала портфели ему на проверку содержимого. Приблизился и я.

Это было интересное мгновение. Секунда или две, может быть. Но такие секунды очень много значат в жизни людей. Даже без всяких слов.

Лёнька посмотрел мне в лицо, будто что-то вспоминая. Потом отвёл глаза и чуть заметно дёрнул головой. Дескать, шагай дальше! Проваливай!

Обходя его, я подумал ещё, что, может быть, там, на стадионе, он заметил меня. Знает, что я свидетель странного происшествия, когда офицер

в чёрной шинели снёс его на лёд за то, что он, в общем-то, не подчинился предупреждению.

Ну, и что случилось, думал я. Упал, оказалось, что жив и здоров, теперь снова стоит на дороге у слабых. Всё забыто!

Я раздумывал обо всех этих мелочах и догадывался, что чего-то я пропускаю. Что-то очень важное. И меня осенило! Мычание! Вот чего Лёнька не хотел, чтобы запомнили! Его мычания! Он бы и должен говорить там, на катке, не такой уж сильный случился удар, как оказалось. Но когда его стал спрашивать каперанг, он не стал отвечать, а поэтому мычал.

Но почему? И отчего это теперь оказалось стыдным!

Да и так ли всё на самом деле?

А может, он не мог отвечать по какой-то уважительной причине, как-то мельком, вдогонку собственным мыслям, ещё подумал я.

## 12

Не надо, конечно, считать, что этот Лёнька-железнодорожник застил мне весь белый свет.

Жизнь шла своим чередом, меняя не только людей, но и даже весь наш город. И голод всё-таки отступал, теперь на больших переменах нас кормили даже вторым — котлетами с вермишелью или картофельным пюре, и никто уже никакой провиант в школу не таскал, не было нужды.

Как-то совершенно безмолвно, без всяких предупреждений, Лёнька пропал с нашей дороги. Да и дороги стали меняться. Домой возвращались солдаты, и, кажется, вместе с ними в город возвращались машины.

Попробую объяснить это тем, кто тогда ещё и не родился.

Как мобилизовывали на войну мужчин, точно так же забирали туда и машины, в первую очередь грузовики. Разве это непонятно? Надо же возить на чём-то снаряды, патроны, да и самих солдат!

Поэтому в городе у нас появились новые машины по имени “газогенераторки”. Возле кабины устанавливали два чёрных вытянутых устройства с печкой. В печке горели короткие кубышки — мелко напиленные дрова. От них кипела вода, она крутила какое-то устройство внутри, а то давало энергию двигателю. В общем-то, прости меня это великое изобретение ума человеческого, получался громадный чайник на колёсах, и машина шла. Вся бензиновая и дизельная тяговая сила служила на войне, точно так же, как и люди, сгорая в огне, погибая под взрывами, получая раны, которые лечили ведь тоже, можно сказать, врачи — солдаты-водители, солдаты-механики и, наверное, инженеры.

Ну, и вот! После войны потихоньку-помаленьку машины, прошедшие войну, и прежде-то всего усталые грузовики стали приезжать к нам обратно, и людям думалось — возвращаться, хотя, пожалуй, редкая машина могла вернуться-то, это было бы настоящее чудо. И, говорят, оно где-то явилось: демобилизованный шофёр, ушедший на войну вместе с машиной, с ней же и вернулся назад, пусть израненной, но действующей. Да что там! Ходят по земле легенды, что солдаты-конюхи — выбить бы их имена золотом в камне, как и имена их лошадей! — уходили на войну вместе с конём из колхоза и, оттопав всю войну, возвращались с тем же коньком, верно отслужившим и своему хранителю-человеку и всей Родине — понятию ему недоступному, но очень даже любимому.

А в войну, когда несчастные газогенераторки дымили своими самоварами по улицам русских городов, родилось и утвердилось ребячье баловство, опасное для жизни.

Из твёрдой проволоки делался крюк и этим крючком цеплялись за задний борт машины и двигались за ней на коньках, приделанных к валенкам.

Рисковую езду начинали с лошадиных повозок: лошадь всё-таки идёт медленнее любой машины, даже газогенераторки, и можно было зацепиться своим крючком и прокатиться в своё, можно сказать, удовольствие, но в ясное неудовольствие извозчика или, чаще, извозчицы, которая управляла своей усталой кобылкой.



Вот-вот, усталой! Разве не жаль лошадей, которые даже и снаряды поначалу от заводов к станции перевозили, да и вообще! Живая тварь — глянет лиловым глазом, будто укоризной окатит, и стыдно становится, совестно. Проедешь метров пять-десять, да и отценишься! Другое дело — незримые лошадиные силы, упряжанные в железках и сладко пахнущих моторных выхлопах!

Я и сам не раз и не два цеплялся за конские повозки, всякий раз испытывая угрызения совести перед лошадами разных мастей. И за газогенераторку цеплялся без всяких уже угрызений совести — они пёрли медленно, особенно в гору, ну как тут не испытать свою незрелую отчаянность, не только девчонкам там всяким, прохожим старушенциям, но и самому себе демонстрируя безопасную, в общем-то, удаль.

А вот к машинам, вернувшимся с войны, лично я испытывал не только почтение, но и священный трепет.

Они бесстрашно носились по улицам, отчаянно бибикая и тем самым приказывая посторониться, тормозили со скрипом на поворотах, отчаянно дули своими выхлопными трубами, а пара-тройка американских “студебеккеров”, высоких ростом и предназначенных с ходу брать лёгкие препятствия, вообще останавливали всякое дорожное движение, когда эти машинищи, как паровозы какие, двигались посередине мостовой, прижимая к обочинам не только повозки, запряжённые лошадьми, не только газогенераторки, но и бензиновых ветеранов, вернувшихся из мест сражений.

И вот эти-то “студебеккеры” могли тащить с собой хоть десяток шалунов на коньках, примотанных к валенкам, не испытывая ни малейшего напряжения.

Стоит ли сомневаться в том, что первым в этих гроздьях нарушителей спокойствия, цеплявшихся к грузовикам, был Лёнька.

Снова он царствовал на дороге.

### 13

Конечно, местные власти замечали стаи пацанов, цепляющихся к машинам. Наверное, проводили работу среди остальных, как принято выражаться. Нам в классе частенько читали краткие, но доходчивые нравоучения про то, что глупо погибать под колёсами грузовика, когда надо учиться, чтобы смело смотреть в послевоенное будущее.

Не надо ухмыляться! Так или иначе, это действовало! Я-то до сих пор думаю, что действовало, прежде всего, низкое качество моих, например, снегурочек, затянутых верёвкой с палочкой — такой примитив! Верёвки рвались, палки ломались, и хотя действительно в валенках с коньками можно было прыгнуть в неглубокий, притоптанный снег и в случае чего просто побежать, а не поехать, всё-таки ощущение своей технической неоснащённости слегка придавливало неразумность и уступало место более или менее трезвому расчёту: ради чего гробиться, если коньки худые?

И я замечал, что число ребят с крючьями потихонечку убывает.

Один Лёнька-железнодорожник упорно цеплялся за машины.

Нашу улицу он покинул давно и, как оказалось, навсегда, но на главных дорогах от вокзала до заводов, — а их было всего две, — он, мне порой казалось, просто жил.

Сколько раз я там ни появлялся по каким-нибудь случаям, оглянись по сторонам и, если увидишь грузовик, а особенно “студебеккер”, подожди минуту-другую, и всегда увидишь победоносного Лёньку, который, будто артист какой, катит себе на коньках с ботинками, и в одной руке у него длинный крюк, зацепившийся за машину.

Тут всё-таки надо пояснить, что в войну, да и многие годы после неё дороги, — по крайней мере, в нашем городе, — никто не убирал, снег не просто слёживался, а спрессовывался, машины, вернувшиеся с войны, их глянцевавали, а то и растирали до настоящего льда, который скрывался под укатанным снегом, и ехать на коньках по дороге было чистое удовольствие.

И Лёнька стал чуть ли не городской достопримечательностью. Когда классная руководительница просвещала нас насчёт опасности таких увлече-

ний и полезности простых катков, число которых увеличилось вдвое — открылся ещё один, на стадионе “Динамо”, — она не могла не столкнуться с чьим-то вопросом: что, мол, с этим парнем из железнодорожной школы, он хоть учится или нет? И почему тогда не найдут на него никакой управы?

Наша пожилая учительница затуманилась, — это бывало всегда, когда она не знала точного ответа, и, может быть, правду сказала, а может, и придумала в помощь себе неуверенные слова, что этот мальчик чистый хулиган, с ним не может справиться ни семья, ни школа, ни даже милиция, куда вызывали его с матерью.

И кто-то в шутку поддержал её:

— Фулюган с большой дороги!

Она обнадёженно усмехнулась, полагая, что до нас дошёл главный смысл её остротки, и ответила:

— Вот именно что фулюган! До хулигана не дотягивает!

## 14

Так и потянулась за Лёнькой эта заочная кличка — *Фулюган с большой дороги*. Почти наверняка он не знал, что его зовут так за глаза самые разные люди. Ну, ребята, это ладно, мелкотня, что с них возьмёшь... Но ведь и взрослые, а уж это — досадно!

Если бы Лёнька тогда узнал об этом — я почему-то уверен в этом! — он бы устроил какое-нибудь безобразие, только чтоб его фулюганом не звали, а звали просто хулиганом. Ведь было что-то пренебрежительное в этом почти шуточном обороте.

А так-то Лёнька всюю *мастерился*. Такого слова сейчас нет ни в ребячьей, ни во взрослой речи, а в наше время оно существовало и определяло подчёркнутое во всём превосходство, надменное умение что-то делать лучше других, конечно, прежде всего, в навыках физических, спортивных, но и других — тоже.

Например, сильный человек мог позволить себе играючи, то есть *мастерясь*, расколоть десять береговых толстенных чурбанов, и это спокойное употребление силы и мускулов, ежели человек это делает на глазах у других, могло быть признано вот такой гордыней. Могли сказать: *мастерится*.

В спорте гимнастка, превосходящая других, могла, скажем, упражнение на турнике выполнить блестяще, но скромно, никого не унижая своим мастерством, и это ценилось безмолвно, невысказанным признанием. А другая могла, делая то же самое, подчёркивать своё умение неприкрытой гордостью, отличимостью от других, желая даже внешностью своей, всей отточенной своей фигурой и, конечно, мастерством неуловимо дать понять окружающим своё личное превосходство.

Лёнька был лучшим цепляльщиком за грузовушками — легковых ещё почти не было, а те редкие, что ездили, перевозили начальников, и даже Лёнька за них не цеплялся из чувства почтения. Но в этом своём цепляльном признании Лёнька-железнодорожник стал задаваться. То есть *мастериться*.

Когда “студебеккер” шёл в гору, он, конечно, использовал его мощь и был от машины на расстоянии своего крючка метра в полтора. Но когда трёхосный автомобильщик подкатывал к краю спуска, Лёнька наглед, приближался к машине вплотную, ухватывался за борта кузова рукой и катился рядом с рычащим железным чудовищем”, порой притормаживая, чтобы не обогнать его, и являл окружающим своё свободное владение коньками рядом с громадными и опасными, почти до его плеч, колёсами.

Это и называлось — *мастериться*.

Да уж! Лёнька теперь не отбирал бутерброды у мальшей, не жрал их за забором, как загнанный волк, а *мастерился*, цепляясь за “студебеккеры”, форсил перед городом и миром.

И никто не знал, где взял этот мальчишка коньки на ботинках. После изучения картинок в книжках, я знал, что коньки были хоккейные! А значит, довоенные.

С приходом Победы хоккей ещё не добрался до глубин России, значит, их откуда-то привезли!

И вот здесь наступает обрыв.

Город облетает молва, что Лёнька попал под машину, за которую цеплялся.

И ему отняли обе ноги!

Будто какой-то чёрный вихрь пронесся надо мной при этом известии. Я ничего не переспрашивал, а просто молчал. Лёнька, этот проклятый Лёнька-железнодорожник был мне не друг, а враг, он отнял у меня яблоко, но главное, кляссер с марками и только по причине какого-то чуда отец так ни разу и не спохватился, где его чудесная коллекция! И что будет ещё, когда спохватится! Но мне было отчаянно жаль Лёньку!

Всё получалось так глупо — цепляться за машины, *мастерясь*, но и на самом деле цепляясь лучше всех в нашем городе...

Ах, Лёнька... Да и почему он “железнодорожник”, ну, да это ладно, потому что в двух железнодорожных школах нашего городка учились ребята, к железной дороге отношения не имевшие. Но где его мать? Про отцов тогда не спрашивали, потому что вместо ответа можно было сразу нарваться на слёзы, но вот мать?.. Почему она не урезонила его, и как он теперь будет жить?

## 15

А никак!

Жизнь, окружающая нас, не просто сурова, как истина. Она и есть истина в последней инстанции.

Жизнь как бы говорит всем нам: вот я тебе дана, и не просто радуйся — хотя этого никто не запрещает, радуйся, пока дают! — но ты ещё береги меня! Не обращай ко мне, как к бесконечности, я же конечна! И когда ты это поймёшь, постарайся использовать меня разумно, с толком, со смыслом, с пользой для своего собственного ума и сердца и с радостью для других — близких и чужих.

А если нет, если ты этого не поймёшь и не оценишь, ты лишишься меня, и никто не будет виноват, что тебя забудут.

Очень быстро.

Лёньку забыли сразу. А и кто обязан был помнить *Фулюгана с большой дороги*, окружённого безликим дитячьим комарьём! Р-раз! — и всё исчезло. И, может, эти комаришки пропали первыми.

Жизнь двигалась своими большими, тяжёлыми шагами, переступая через павших — детей и взрослых. У неё нет жалости, если ею не дорожат. И Лёнька удалился из моего сознания.

## 16

Прошло года полтора.

Да что там годы, неделя-то мальчишечьей жизни — это торопливая эпоха, если при том войны уже нет, и отец дома — вот он, курит по вечерам свой мундштучок и говорит про самые обыкновенные домашние дела.

Возвращение с войны отца меня, честно сказать, как-то переменяло. Получать пары, даже по математике, стало неловко, хотя я никак не мог вписаться во все эти теоремы и формулы, и если назревала неприятность, я просил нашу математичку поговорить со мной после уроков, чтобы допонять, додумать, как дорешать неодолимую задачку. Со мной, как и со всеми, кто подвигался на такое прошение, обращались внимательно, и двойку, если она уже стояла в дневнике, переписывали на тройку при второй, подтверждающей, учительской подписи.

А ещё я записался в лыжную секцию, которая летом сама собой превращалась в легкоатлетическую, и, честное слово, сразу стал жить как-то увереннее.

Может быть, просто у меня появилась новая компания и тренер, незабвенный Всеволод Васильевич, человек немногоречивый, сдержанный, даже

краткий, к каждому относившийся с ровной справедливостью. Чемпионов он среди нас не искал, даже в необозримом будущем, а просто приучал к упорству, терпению и желанию научиться таковым знаниям, что всегда и всюду пригодятся.

Я почувствовал, что где-то неподалёку у меня появилась хорошая компания. И ещё я почувствовал, что набираю силы. Ноги становились крепче и как-то взрослее, плечи вдруг расширились — ведь лыжные палки всерьёз наливают мышцы, да и дышать я научился как-то легко, освобождённо.

Теперь-то я знаю, что это просто взросление наступало во мне, делало первые шаги. Ребёнок превращался в юношу, почти молодого мужчину, но пока что до этого ещё бежать и бежать. А вот именно сейчас ко мне приступало отрочество. Когда мы ещё не взрослые, но уже и не дети.

И на отца я теперь смотрел не как малое, но всё же не вполне разумное дитя, только в нём единственном ищущее защиту, а как на главного взрослого моей жизни. Он долго не говорит — скажет фразу-другую, ты задумаешься, поверишь, и всё как-то становится на место, успокаивается, наступает уверенность. Я так хотел верить ему!

И мамины речи оказываются не просто торопливыми хлопотами, беспокойством, а разумным предупреждением, советом, оберегом от ненужных испытаний.

К тому же я много читал. Уйму книг! Ну, да ещё и уроки! Забавное, точное и всегда повторявшееся, по крайней мере, со мной, правило: чем больше занят делом, тем жизнь становится спокойнее. Наверное, от своей определённости.

## 17

Настала очередная весна, лыжи с “ратафеллами” — это такие крепления были для ботинок; да и лыжами мы пользовались в секции вполне достойными! — сданы на склад, а мы три раза каждую неделю собираемся в спортзале Дома физкультуры — бывшем монастыре.

Мой путь оттуда был разным, мы шли толпой, тающей постепенно, и любили ходить дорогами не главными, не основными, даже, можно сказать, боковыми, непроезжими, а то и покороचे — проходными дворами.

А в тот день я вышел на главную улицу. Ничего, собственно, это не означало — вышел и вышел, двигался лёгкой походкой после тренировки, на булыжной мостовой взблескивали остатки воды, и, сияя на солнце, эти маленькие подобию лужиц слепили глаза.

Эту нашу главную улицу пересекал овраг, а через него пролегал массивная насыпь, и вот на краю этой-то насыпи всегда толкалась толпа людей, торгующей всякой мелочью. Например, там годами, — можно сказать, всю войну, — топталась измождённая тетка с поллитровой банкой в руке, а в банке этой — чудо, притягивающее взгляды всех детей! — блистали сладкие петушки. Этакие карамельки в форме петушков и на палочках. И цвет у них был самый что ни на есть соблазнительный: красные, жёлтые и даже зелёные.

Ещё в войну мне мама купила такого красного петушка, принесла порадовать, и я радостно обсосал его, а потом и догрыз. Но дальше! Дальше меня стало тошнить, и мама отпаивала меня чаем и почём зря ругала торговку, подозревая, что та делает эти петушки уж точно на сахарине, да и краситель у неё, наверное, какой-то зловерный. Разве бывают петушки зелёными?

Мама рассказывала, что на другой же день после работы она кинулась на ту толкучку, хотела ругаться и требовать объяснений, но именно той худой тётки не оказалось, а ругаться с другой, потолще, но с той же самой банкой петушков, смысла не имело.

Ну, и вот я, подросший и независимый, подхожу к этим петушкам, оглядываю букеты искусственных цветов — то ли на комод, для украшения к 8 марта, то ли на кладбище, пока живых цветов нет, — и возле ступенек парикмахерской, где и располагался этот толчок, тоже привычным, ничему не удивляющимся взглядом оглядываю попрошаек — нищими назвать их не позволяла совесть.

Три, четыре, а то и пять безногих военных инвалида сидели тут всегда, привязанные к деревянным тележкам с шарикоподшипниками, чтобы передвигаться на этих колёсиках.

Все они были в военной форме, только без погон — это кем-то не дозволялось, — все были в разной степени пьяны, и все просили подавание.

Впрочем, чаще всего и не просили! А требовали! Каждого из них городской народ знал по именам, бросая в перевёрнутую фуражку или пилотку мятую денежку, говорили: “Возьми, Ваня! Прими, Вася!” Но быстро отходили. Уж больно требовательными были просители! Кричали матом, совершенно не стесняясь ни женщин, ни детей! От мужчин, обходивших их, чаще всего, по другой стороне улицы, требовали неизвестно чего, укоряя их особо изысканными оборотами за то, что те почему-то остались и с ногами, и с руками, хотя война прошла!

Особенно пьяным был боец по имени Миша. На гимнастёрке у него висела медаль “За отвагу” с одной стороны и орден Красной Звезды — с другой, а такими наградами, особенно “Звёздочкой”, не каждый отвоёвавший похвастаться мог. У моего отца, например, ордена не было, а “За отвагу” была.

Миша играл на гармошке и по утрам, пока ещё не собрал подаваний, был трезв, вызывал к себе явное сочувствие прохожих. Ему щедро бросали рублики и копейки, через час он менял капитал на чегушку, а к концу-то дня напивался до краёв и выглядел безобразно. Милиция, тем не менее, инвалидов не трогала, помогая лишь, когда, например, жена Мишина не могла уговорить героя своего зажурчать своими маленькими колёсиками по неровной мостовой, то есть стронуться с места.

Словом, на дамбе был толчок, парикмахерская, как центр мироздания, куда приходил — хоть не хошь! — всякий человек мужского пола, да многие и женского, и вот эта стоянка безногих бойцов миновавшей войны. Все к ним привыкли. И я тоже.

Но тогда, обозрев привычный вид, я просто споткнулся.

Возле пострадавших в боях воинов, на отшибе от них — значит, погна-ли! — на такой же тачке с подшипниками сидел пацан.

И это был Лёнька!

Ставший совсем другим человеком, можно сказать, сильно подросший отрок, я с детским старым трепетом приблизился к нему. И уставился на него.

Да, это был Лёнька! Я вглядывался в его лицо, я разглядывал его плечи, руки, туловище, я глядел на остатки его ног в подвёрнутых, хотя и обрезанных брюках, зашитых неровной и грубой стёжкой, я глядел на шапку — обычную, потрёпанную зимнюю ушанку с завязанными ушами, перевёрнутую к милосердным людям, — и всё во мне раскачивалось.

Что я испытывал к Лёньке!

Да ничего, кроме жалости. Всё, что было дурного, память одним махом вымела из меня, даже кляссер.

Я просто думал, как же так он оказался тут? Ведь он пацан, пусть старше меня. И почему его кто-то отпустил сюда? Как вообще такое происходит?

Лёнька тоже смотрел на меня. Не так, как раньше, не равнодушно и не брезгливо, будто на слабака. Он смотрел, будто узнавая меня по-новому. Да и вообще, словно впервые по-настоящему знакомясь со мной.

И тут я вспомнил, что у меня в заднем кармане брюк есть трёшка — три рубля зелёного цвета одной бумажкой, моё денежное сокровище. Я полез в карман, а потом положил деньги в Лёнькину шапку.

И вдруг он сказал мне:

— Не надо! Я твой должник!

## 18

Разговаривать сверху вниз было неудобно, нехорошо.

Я сел на корточках перед Лёнькой и ничего разумного, никаких умных слов не лезло мне в голову. Но и молчать было глупо. Просто проговорил:

— Как же так, Лёнька?

Он смотрел мне в глаза, и я увидел совсем другое лицо другого человека. Оно дрожало мелко-мелко. И скулы у него ходили ходуном. И не могли не дрожать губы.

— Убьёт, убьёт! — прошептал Лёнька. И стал лихорадочно вынимать мою единственную трёшку из шапки, сунул её мне обратно. Мелочь бросил на землю — да и было там несколько монеток.

— Кто убьёт? — спросил я запоздало, и Лёнька, взяв в руку деревянные колодки, которыми надо было отталкиваться от земли, чтобы ехать на тележке, ответил уже спокойно:

— Отец!

И поехал по тротуару с толчка, где слипались вместе беда и отчаяние с крошками послевоенной радости.

Я посмотрел ему вслед. И кто-то спокойный сказал мне изнутри меня самого:

— Иди с ним. Помоги ему.

Я поравнялся с каталкой, и мы поначалу двигались рядом. Лёнька молчал, молчал и я. Но ведь нельзя было не понимать, как трудно ему отталкиваться деревяшками от земли, местами мокрой. Ног у человека не было, значит, требовалось всю силу употребить в плечи и руки. А впереди простиралась пологая гора.

Запыхавшийся, да что там — мокрый Лёнька снял шапку и остановился.

— Давай помогу тебе, — проговорил я.

— Как? — спросил он.

— Буду толкать тебя в спину, ты просто крепче держись руками за каталку.

Мы попробовали. И это получилось!

Я толкал Лёньку в спину — а спина у него была худощая! — и коляска катилась вперёд, мягко журчала подшинниками! Я упирался изо всех сил и думал, что сам бы Лёнька не въехал в эту некрутую горку. А если бы она была крутой?

Мы почти не говорили. Теперь уже задыхался я, Лёнька упирался в мои руки спиной, и для бесед не было подходящего состояния.

Мы передвигались по улицам, ехать дворами было безнадёжно — земля там раскисла. А дороги наши известно какие тогда были!

Наконец, добрались до скособоченной избушки за дырявым штакетником, и Лёнька велел остановиться.

— Как ты и добрался-то туда? — удивился я.

— Сам не знаю, — ответил Лёнька. И добавил: — А чего! Времени у меня теперь навалом!

Я ничего не ответил, не мог судить ни о его времени, да и о нём самом.

— Слушай! — сказал он вдруг мне. — Меня вообще-то засекли.

— Кто? — спросил я.

— Да училка из нашей школы! Настучит отцу. А он машинист, составы гоняет!

Он помолчал. Проговорил не очень-то понятное:

— Я и так для него одна беда. — Снова помолчал.

— Хотел меня в суворовское отправить, да теперь какое там!

— А мать? — спросил я.

— Мать умерла. Да и бабушка лежит пластом. Потеряла, поди, меня.

Он ткнул деревянной балдашкой лёгкую калитку, прокатился до дверей, обернулся ко мне и сказал:

— Знаю, знаю! Я твой должник.

## 19

Надо сказать, что эта встреча совершенно выходила за правила моего характера. Война не только на взрослых как-то там влияла, но и на ребятню. В наше время если был у тебя друг, то он и должен быть другом без всяких-яких, а если враг, то он и есть враг. И уж Лёнька-то был моим не просто недругом, врагом, а — вражиной!

Тогда чего же я этак-то рассирошился? И яблоко, и марки, и множество унижений, когда он повелевал одной только бровью открыть для проверки не одну твою суму, но всей бредущей в школы малышни! Разве это забывается когда-нибудь? Разве это можно простить?

Но вот какое удивительное ощутил я чувство ещё.

Мне как будто кто-то шепнул, что дело просто в том, что виноват-то не Лёнька, а я!

Удивительно! Я не мог даже и понять, в чём моя вина, но зато ощущал её очень даже ясно. И чем дольше думал, тем понятнее становилась мне моя виновность.

А просто ко мне вернулся мой отец, и мама была со мной, и бабушка, и эта закончившаяся тяжкая война для меня была уже позади, а для Лёньки — нет. Вот в чём дело!

Его война не кончилась. Не знаю, как это случилось, и никогда не узнаю этого, но у него не стало матери, и бабушка лежит пластом, а он, слышавший героем — хулиганом с большой дороги, — потерял ноги. И хоть отец у него железнодорожный машинист, водит, наверное, могучие паровозы по имени “Иосиф Сталин” или “Феликс Дзержинский”, но для Лёньки-то, может, ещё и не видно берега.

Ещё неясен конец его войны!

А мой — ясен. И в этом состояла моя к себе собственная укоризна.

## 20

Теперь уже Лёнька не очень-то охотно покидал мою голову. Где-то мне удалось вычитать выражение, что, мол, если не знаешь, как вести себя, поставь себя на место другого. Но когда я ставил себя на место Лёньки, хотелось спрятаться. Я не знал ничего — ни про него, не про себя.

Тут подошёл какой-то праздник, и моя бабушка на радостях напекла много каких-то особенных пирожков из серой муки с картофельным пюре внутри. Мы поели всей семьёй, а на тарелке осталось ещё приличная кучка, и я вдруг сцапал десяток таких пирожков-пончиков, завернул в газетку и двинул к Лёньке.

Никто меня не звал, никто не ждал, поэтому появление моё на пороге скособоченной избышки и для меня самого стало полной неожиданностью.

В комнате, возле стен которой стояли две железные кровати, по центру был маленький стол, над ним висела лампочка под железным плоским абажуром, почти как на катке, а за столом чинно сидело два человека.

Один был Лёнька, а второй, без сомнения, его отец, человек высокий, худой, со впальми щеками, с волосами, зачёсанными назад, и с лысиной, продолжающей лоб.

Когда я постучал, мне ответили сразу два голоса, а когда вошёл, настала тишина, и я почувствовал всю глупость своего положения.

На столе стояли тарелки, полные супа, а рядом ещё тарелки и тарелочки с салом, с отварной картошкой, с солёной капустой, с маринованными помидорами, в большой тарелке лежала отваренная курица. А я припёрся сюда с серыми пирожками, начинёнными картошкой.

Но отступить было некуда, Лёнька назвал меня знакомым пацаном, и отец его смягчился, особенно когда я выложил своё угощение.

— Спасибо тебе, — сказал Лёнькин отец и протянул мне руку, представляясь: — Захар Матвеевич.

Он вышел из-за стола, достал ещё тарелочку и водрузил на неё моё угощение.

— Садись за стол, — пригласил он, и, обращаясь к Лёньке, сказал ему. — Видишь, у тебя есть товарищи! А ты твердишь — нет!

Я уселся, и Захар Матвеевич приставил передо мной тарелку с ложкой и вилкой, но я чувствовал себя сквернейшим образом. Никогда в жизни ни у кого из товарищей я до сих пор не обедал. Да и ещё с таким обилием, довольно странным для скудных послевоенных годов. Мне показалось, что этого не должно, не может быть, что так по нынешним временам вообще

никто не ест, может, только какие-нибудь спекулянты, да и то не в наших краях.

А худой Лёнькин отец будто запросто слышал мои мысли. Он усмехнулся и сказал:

— Ты не удивляйся нашей еде! Я железнодорожный машинист, понимаешь? Вожу поезда к западу и востоку — до соседних больших станций, где есть паровозные депо. Довежу состав и обратно. А это трудные поезда! Тяжёлые! Возим вооружение, людей! Иногда, не дай Бог, разрываются! Сразу закупорка на целом направлении. Этого нельзя. Поэтому нас хорошо кормят. Зарплату большую дают. Я не спекулянт, не думай.

— Я и не думаю! — пролопотал я.

— А вот ты хороший паренёк, — будто и не услышал Лёнькин отец. — Принёс коржики. Тебе принёс, сынок!

И так он ласково проговорил это слово, что все мои неудобства отлетели, и я принялся хлебать суп с вермишелью.

— Вы давно знакомы-то? — Лёнькин отец переводил свой взгляд с меня на Лёньку и обратно.

Я молчал, усердно заглядывая в тарелку, а Лёнька будто язык проглотил. Захар Матвеевич свой вопрос повторил, голосом уже похолодавшим. И опять Лёнька будто воды в рот набрал.

— Бойтесь признаться, что ли? — усмехнулся худой этот человек, которого мне теперь уже тоже стало жалко. И у него ведь война-то не кончилась.

— Поди, вместе крючками за машины цеплялись? — спросил Лёнькин отец. И выдохнул, сердито бросив ложку: — Жизни своей не цените! Близких своих не любите! За что!

— Да нет, пап! — вдруг сказал Лёнька. И добавил, потупясь: — Всё куда хуже!

— Хуже? — как-то обмяк его отец. — Куда ещё хуже?

— Да я у него марки отнял. Помнишь, ты меня выпорол? Я ведь даже не знаю, как его и зовут-то! Этого-то пацана!

Лёнькин отец походил на взрослого, конечно, человека, но совершенного мальчишку. На этакого несмышлёныша, который никак не сообразит, что перед ним происходит.

— А ты? — спросил он вдруг отрывисто меня. — Знаешь, как его зовут? — он ткнул пальцем в сторону сына.

— Конечно! — ответил я. — Лёнька! А ещё его зовут “Фулюган с большой дороги”.

Я думал этот “фулюган”, смягчённый вариант “хулигана”, поможет разобратся, что к чему, и обернётся смехом. Но дядька вдруг вскочил, и я увидел какого он большого роста.

Он постоял всего мгновение и вдруг заплакал.

Да нет, он просто зарыдал, склонил лысоватую голову с зачёсанными и редкими волосами на грудь и закрыл лицо крест-накрест сложенными руками.

И всё его худое тело содрогалось от какой-то страшной боли.

Я вскочил, отодвинув стул, — ну, никак не ожидал такого разворота событий! А Лёнька всё сидел и глядел невидящими глазами куда-то вперёд.

И какое-то недетское совсем ожесточение увидел я в этом тяжёлом взгляде.

Но длилось это очень кратко — какие-то мгновения. Опершись о стол, Лёнька остатками ног вышвырнул из-под себя сиденье и больно бухнулся о пол.

Опираясь руками, он поспешно подтянул себя к ногам отца и обнял его за чёрные и трёпаные штаны.

— Папа! — крикнул он каким-то взрослым, твёрдым, почти мужицким голосом. — Не надо!

И сам зарыдал, затрясся плечами!

И вот они оба стояли возле стола и тряслись, не сдерживаясь, выли в два мужицких голоса, и тогда я, тоже трясясь и плача, крикнул — наивно,



по-щеничьи, — не находя никаких иных способов успокоить сына, а главное, взрослого отца! Машиниста!

— Но вы понимаете! — крикнул я во весь голос. — Что! Фулюган! Это ещё не хулиган!

И ещё зачем-то выдумал в прибавление:

— А большая дорога! У нас одна!

И совсем сдурев, выкрикнул, вычитанное где-то:

— И нету пути назад!

Вот только тут они утихли.

Видно, все эти мои лозунги заскочили им в головы, вроде коротких молний. Говори я дольше, спокойней, убедительней, толку бы не вышло. А тут я прокричал! И всё стихло!

Первым взял себя в руки отец. Он наклонился к Лёньке, с трудом поднял его и усадил на стул, тут же подставленный мной. Вот и Лёнька отёр лицо руками, а я поднёс им по очереди полотенце, смоченное в ведре с водой.

Они улыбнулись.

Суп с лапшой, конечно, простыл. И вообще! Чего я сюда ворвался со своим подаванием?

Надо было двигать отсюда, поскорее забыв происшествие, и я уже готовился выдумать какую-нибудь прощальную причину.

Но Лёнькин отец Захар Матвеевич вскинул тут на меня глаза, тёмные и горькие, улыбнулся и спросил неожиданно и негромко:

— Ну, так как тебя зовут? Давай познакомимся.

Я назвал, но какое это, собственно говоря, могло иметь значение? А Лёнька смотрел на меня с любопытством — будто только проснулся и разглядывает что-то незнакомое.

— Так вы руки-то хоть пожмите, — усмехнулся его отец. И мы пожали.

## 21

Вот, собственно, и всё.

Кроме самого главного!

Может быть, удручённый результатом неумелого сочувствия, которое обернулось горькой сценой, а может, где-то внутри себя утешась мыслью, что отец и сын сумеют обойтись без моего маловозрастного соучастия, я больше не заходил в ту развалюху.

А потом увидел, что окна заколочены на ней досками и избушка совсем скособочилась, как уже умершее, да, по забывчивости людей, не похороненное существо. Значит, жильцы исчезли.

Шли годы, меняя мир вокруг, моих близких и, конечно, меня. Я закончил школу, уехал в другой город учиться и на каникулы, конечно, летел домой, хотя слово “летел” носит здесь чисто фигуральное выражение.

Конечно, ехал, а не летел. Ехал на поезде.

Я обожал появиться на пороге родного дома неожиданно, явившись чаще всего поутру, потому что поезда из города, где я учился, приходили исключительно по утрам, а некоторые — по ранним утрам. И я часов в шесть, когда все ещё дома, являлся как взошедшее солнце, вызывая не только родительский смех и восклицания, но и бабушкины родимые стоны.

Поезда эти были очень разными, числились среди них и “скорые”, которые не тормозили возле каждого столба, и хоть эти оказывались подороже, я стремился на них, даже попадая на проходящие, и уж эти-то точно были скорыми: разве можно тихо гонять поезда по имени, например, “Владивосток—Москва”.

Однажды, с такого вот поезда, проходящего через город, где я учился, и далее через город, где родился, я сошёл на родной перрон очень рано, часов в пять, и оказался едва ли не единственным, вышедшим из вагона.

Сняв свой фанерный чемоданишко с лесенки, я развернулся, чтобы рвануть к выходу, и вдруг — лоб в лоб — столкнулся с двумя высокими людьми в чёрной форме, с молоточками на околышках фуражек. Это были железнодорожники.

Я хотел было обогнуть их, чтобы не задерживаться, и вдруг один из них окликнул меня по имени.

Я уставился на него, с трудом вспоминая, где мог видеть этого пожилого человека, и тут второй легонько стукнул меня в плечо.

Вот это да! Передо мной был Лёнька и рядом с ним стоял его отец — как же зовут? Ну, да и Лёнька-то! Он же на ногах!

Я только и мог выпалить:

— Лёнька! Как же ты?

— Да так, — усмехнулся почти взрослый Лёнька, которого я бы мог и не узнать на бегу. — Отец вон раздобыл такие пилули! И ноги у меня выросли по новой!

И расхохотался, разглядывая, видно, моё дурацкое непонимание.

— Эх! — вздохнул его отец. — Если бы сбывались такие чудеса, да я бы... — Он помолчал.

— Конечно, протезы, надо вот новые делать, натирают культи!

Я смотрел на них, переводил взгляд с одного на другого и как бы ждал, что они ещё скажут. Помнил, как тогда, за столом у них, Лёньку подвёл.

— Я кончил ФЗО, — сказал Лёнька и покровительственно похлопал меня по плечу, — работаю с отцом, у него помощник. Так что помощник машиниста. А ноги...

Он посмотрел на свои ботинки, ничем не отличавшиеся от моих.

— А ноги машинистам не помеха.

В двух словах я рассказал про себя — мол, учусь, мол, в таком-то городе. Пожали друг другу руки, я пошёл к выходу с перрона, и вдруг меня окликнул старший. И тут я вспомнил, его зовут Захар Матвеевич.

— Коль! — крикнул он мне. — А какая всё-таки разница-то: фулюган или хулиган?

Я ответил:

— Фулюган это ещё не хулиган. — И вдруг выдумал: — Да и не будет им никогда!

## 22

“А марки?” — спросите вы.

Где пухленький господин классер с отцовскими марками? Я так об этом и не узнал.

Может, Лёнька их продал или променял? Может, пропали, как пропадают безвестно люди. А марки — не люди, и я про них тогда забыл. Потому что, может, мой отец так и не спросил меня — где они?